

ного состояния совершенно особого времени? Можно ли сказать, что исследователи не считают нужным развивать в себе способность, которую можно было бы назвать исторической эмпатией?

В.Б.: Можно говорить и о неспособности к эмпатии, и об игнорировании герменевтических практик. Но главное — скудость источниковой базы прикрывается наукообразной терминологией. Это болезнь современной «профессорской» историографии. Отсюда скучные суждения о «нескучной» революции. Причем значительная часть историков революции настолько поскучилась, что и «задирать» их скучно и бесполезно.

Б.К.: А какой вопрос вы сами задали бы себе о своей книге?

В.Б.: «Доволен ли?» Ответ: «Никогда не удавалось!»

Николай Нахшунов, Владислав Аксенов
**История эмоций в эпоху
неопределенности**

DOI: 10.53953/08696365_2026_197_7_395

**Аксенов В. Слухи, образы, эмоции. Массовые настроения
россиян в годы войны и революции (1914–1918).**

М.: Новое литературное обозрение, 2020. — 992 с.



Николай Нахшунов: Уже по названию вашей книги ясно, что вы рассматриваете чувственное измерение событий Первой мировой войны и революций 1917 г. Относите ли вы себя к школе истории эмоций, которая представлена работами Л. Февра, П. и К. Стерн, Б. Розенвейн, У. Редди и др. и которая в соответствии с исследовательской программой Я. Плампера, изложенной в его фундаментальной «Истории эмоций», стремится сочетать сильные стороны социально-конструктивистского и универсалистского подходов к пониманию феноменов чувственного? И встраивается ли ваша работа, выдержавшая уже три переиздания, в общую линию изучения эмоций в российской истории и культуре, которая складывается из ряда книг, вышедших в «Новом литературном обозрении»?

Владислав Аксенов: Я, конечно, надеюсь, что моя книга во что-то да встраивается, но если говорить серьезно, то даже у перечисленных вами авторов есть серьез-

езные методологические расхождения, затрудняющие объединение их в единую школу. Вообще словосочетание «история эмоций» мне кажется не совсем удачным, ведь оно буквально означает написание истории чувств, когда отдельные настроения становятся объектом исследования, в то время как для историка важно писать не историю отдельных эмоций, а историю общества определенной эпохи, пусть и сквозь призму чувств современников. Как говорил единомышленник упомянутого вами Л. Февра М. Блок, история — это наука о человеке во времени. Основанная ими «школа Анналов» заложила фундамент культурно-антропологического подхода к истории, когда большое внимание уделяется изучению мышления человека прошлого, которое определяют как отрефлексированные идеи, так и переживавшиеся эмоции. Поэтому для меня история эмоций или, точнее, эмоциологический подход — это, скорее, оптика, сквозь которую я читаю исторические тексты (вербальные и визуальные) и с помощью которой пытаюсь понять логику исторических явлений. Эмоции во всем многообразии проявления — как коллективные настроения, принятые в эмоциональном сообществе нормы или применяемые властью коммуникативные стратегии — лишь одно из отражений эпохи. Свою задачу историка я вижу в том, чтобы показать роль эмоций в политической, социальной, экономической, духовной жизни людей конкретного времени.

Здесь один из центральных вопросов — это связь эмоций, идей и действий. Такие направления, как «интеллектуальная история», «история идей», реконструируют исторический процесс в рациональном ключе — как последовательность осознанных действий, решений. При этом иногда исследователи упускают из виду, что качественной характеристикой идеи может быть не только ее рационально-логическое ядро, но и эмоциональная форма, определяющая ее контагиозность — способность заражать массы. В частности, это объясняет силу политического популизма. Случается, что идея лишь по форме является продуктом интеллектуальной работы, а по существу — эмоциональной реакцией, архетипическим страхом, облеченным в слова и направленным на манипулирование массами. Взять те же слухи как информацию. Например, в мае 1915 г. в Москве были распространены слухи о том, что немецкие шпионы отравляют питьевые колодцы и устраивают взрывы на военных складах и заводах. «Идейная» составляющая понятна: слух передавал тривиальную мысль о необходимости проявлять бдительность в условиях войны. Однако последствие этого слуха — антинемецкий погром в Москве, во время которого пострадали российские подданные, имевшие немецкие корни, и подданные союзных держав, — продемонстрировало его чувственную основу, а именно укоренившийся в обществе страх шпиономании как формы параноидального мышления, достигший уровня массовой фобии. Не последнюю роль в распространении этой фобии сыграли российские военные власти, с осени 1914 г. оправдывавшие собственные военные неудачи действиями «темных сил», то есть пытавшиеся манипулировать коллективными эмоциями.

Даже само начало Первой мировой войны демонстрирует нам роль коллективных эмоций, в первую очередь чувства национальной обиды как формы ressentimentа. Английский публицист Н. Энджелл, предупреждавший в «Великой иллюзии» (1911) об опасности большой европейской войны и в качестве главной причины называвший материальный фактор — состояние «вооруженного мира», выгодного элитам, — тем не менее признавал тесную связь экономических и психологических мотивов. В том же году П.Н. Милюков писал, что войны вызываются главным образом эмоциональными мотивами, в основе которых — иррациональные инстинкты. Взаимные обиды, ressentiment и порожденное ими недоверие между императорами России, Германии и Австро-Венгрии толкали к конфронтации. Так, например, фатальное решение Николая II о замене частичной мобили-

зации на всеобщую, ставшее поводом для объявления Вильгельмом II войны России, принималось в условиях распространившихся ложных слухов о том, что в Германии уже объявлена мобилизация, а ее флот готовится вступить в Финский залив. Таким образом, моя книга, в отличие от многих обобщающе-теоретических работ по истории эмоций, посвящена изучению эмоциональной механики социально-политических процессов определенной эпохи. Помимо вынесенных в название слухов и образов в ней речь идет о символах, мифах, идеях и тех социальных действиях периода Первой мировой войны и революции, в которых они выражались.

Н.Н.: Хронологическая рамка вашего исследования — 1914–1918 гг. Можно ли утверждать, что именно в эту эпоху, ознаменованную участием России в мировой войне и последующими революциями, возникают сами социальные массы и, как следствие, массовое сознание и медиа, распространяющие всевозможные слухи, образы и проносимые ими эмоции? Или же для этого «эмоционального времени», как назвал эту эпоху М. Стейнберг, была характерна общая одержимость метафизикой, о которой мы знаем по духовным поискам российской интеллигенции и которая была следствием более глубокого социального и исторического кризиса, назревавшего с конца XIX в.?

В.А.: Период войны — это экстремальная эпоха, ломающая сложившиеся повседневные нормы, она пробуждает страсти, инстинкты людей, приводит к тому, что иррациональное начинает довлеть над рациональным (в этом плане как раз показателен рост мистических настроений современников), но если мы говорим об эпохе масс, то хронологические рамки следует расширить. Не случайно уже в конце XIX в. ученые и публицисты начинают говорить о зарождении эпохи масс, в которой действует психология толпы. Французский социальный психолог Г. Лебон, придерживавшийся весьма консервативных взглядов, называвший толпой любой коллектив, в том числе депутатов парламента, считал определяющим признаком толпы растворение индивидуальностей, снижение когнитивных способностей и подчинение поведения толпы эмоциям и иррациональным инстинктам. В 1930-е гг. Х. Ортега-и-Гассет схожим образом описал современного ему «массового человека». Есть еще одна метафора эпохи масс, или века толп, которую ввел в научный оборот немецкий историк Й. Радкау, — «эпоха нервозности», спровоцированная техническим прогрессом, к которому психологически оказался не готов человек рубежа веков. Нет оснований сомневаться в искренности подобных автоощущений, однако возникает вопрос: стоят ли за этим какие-то объективные системные изменения в структуре общества?

Возьмем в качестве примера Российскую империю. После «великих реформ» Александра II усиливается миграция сельского населения в города, за этим следует урбанизация, в результате чего город становится пространством в том числе эмоциональных конфликтов, то есть столкновений разных эмоциональных режимов. Вчерашняя деревенская молодежь, оказавшись в городах, приносит с собой модели поведения, которые не устраивают «коренных» горожан. Журналисты начинают писать о распространении «хулиганства» (к чему могло относиться уличное исполнение песен, в том числе политического содержания), причем этим же термином обозначают революционеров и описывают Первую российскую революцию 1905–1907 гг. Хулиганство рассматривается как проявление неконтролируемых инстинктов, несдерживаемых эмоций. Развивается женское бунтарство, причем как в архаической форме — патриархальными крестьянками (нередко оно стимулировалось мужьями ввиду уверенности, что «с бабы меньший спрос»), так и в современных видах — эмансипированными горожанками (в первую очередь курсистками).

Это, в свою очередь, приводит к так называемым эмоциональным репрессиям — власти пытаются управлять чувствами подданных. Например, в начале XX в. полиция следила за проведением рабочих похорон, которые могли сопровождаться политическими высказываниями, запрещала исполнение «Похоронного марша» («Вы жертвою пали...»), да и в целом преследовалось исполнение революционных песен (с подозрением относились даже к пению «Дубинушки», в которой усматривался призыв к бунту), с помощью системы титулования заставляли уважать «элиты», наказывали за «дерзкие слова» в адрес императора и членов его семьи и т.д. В конечном счете именно то, что цензовое общество считало «хулиганством», и вылилось в революцию. Примечательно, что некоторые оппозиционно настроенные к власти петроградцы в своих дневниковых записях 23 февраля 1917 г. отмечали, что происходившее в городе не революция, а простое хулиганство. Они ошибочно полагали, что революционное движение должно быть обязательно хорошо организовано и спланировано, все участники должны четко осознавать свои цели и задачи, действовать предельно рационально. Вместе с тем М. Вебер, с учетом опыта первой российской революции, предупреждал, что в революциях силен аффективно-эмоциональный компонент. С 1918 г. отечественные авторы, в первую очередь Н.И. Кареев и П.А. Сорокин, описывали революцию в социально-психологической терминологии: первый концентрировался на интерментальных факторах, второй — на «базовых инстинктах» и социокультурной динамике.

Н.Н.: Для описания эмоционального состояния общества вы используете термин «массовые настроения». Что историки понимают под «настроением», когда речь идет о коллективном субъекте? Чем настроения отличаются в этом случае от эмоций и чувств?

В.А.: Начну с того, что психология эмоций работает с такими понятиями, как чувства, драйвы, эмоции, аффекты; с точки зрения нейробиологии эмоция — краткосрочная химическая реакция. Понятно, что историки, говоря о массовых эмоциях, имеют в виду скорее настроения и чувства, чем эмоции в нейропсихологическом понимании. Также очевидно, что настроение индивида, а тем более коллектива, общества, может характеризоваться одновременным наличием разнообразных переживаний, в том числе амбивалентных, противоречивых состояний. То же самое касается и многообразия идей, но раз уж мы изучаем общественную мысль определенной эпохи, то что мешает нам изучать и общественные настроения? Тем более что психологи отмечают единство идей и эмоций. Так, К. Изард, изучая эмоции как нейрофизиологические процессы, вводит понятие аффективно-когнитивной структуры, представляющей собой комбинацию драйва, эмоции и когнитивных процессов. Комплекс из различных аффективно-когнитивных структур становится основой для мировоззрения или идеологии.

Кроме того, у отечественной исторической науки есть и своя традиция изучения коллективных эмоций. Например, еще В.О. Ключевский описывал настроения москвичей в эпоху Смуты XVII в. Советские историки также не обошли стороной тему настроений, рассматривая их как проявление классового сознания. На прошедшем в 1964 г. заседании секции общественных наук Президиума АН СССР ряд ученых высказался за то, что история должна отражать все проявления человеческой психики, эмоций и страстей, массовые настроения, порывы и увлечения. Это привело к выходу ряда работ в русле исторической психологии — таких, как труды Б.Д. Парыгина, Б.Ф. Поршнева, Ю.И. Кирьянова, Г.Л. Соболева, П.В. Волобуева и др. Была поднята проблема репрезентации чувств. Так, Б.Г. Литвак, изучая настроения крепостного крестьянства в XIX в., описал практику их самоуничтожения

в качестве социальной мимикрии, позволявшей им сохранять себя как личность, и при этом рассматривал крестьянские бунты как проявление коллективных настроений, ложившихся в основу зарождавшегося классового сознания. В истории российских революций был поставлен вопрос о соотношении стихийно-эмоционального и идейно-организационного начала, «революционного творчества масс». Это «новое направление» вскоре было разгромлено, так как продемонстрировало недостаточную классовую сознательность главного гегемона революции — пролетариата, показав преобладание инстинктов и эмоций над сознательными когнитивными элементами. Однако в 1990-е гг. интерес к социально-психологической и эмоциологической проблематике возродился, что особенно заметно на примере знаковых исследований В.П. Булдакова «Красная смута» и Б.И. Колоницкого «Символы власти и борьба за власть».

Тем не менее в исторической литературе не сложилось строгой иерархии таких понятий, как «общественное / массовое сознание», «общественная / массовая психология» или «общественные / массовые настроения». Думаю, это в первую очередь связано с тем, что для историка важен именно источник, который определяет методологический инструментарий, а в исторических источниках различия сознания, психологии и настроений явно не выражены. Скорее, можно говорить о структуре «общественных настроений» с точки зрения тех сфер общественной жизни, в которых они формируются: это политические настроения (патриотические, революционные и т.д.), религиозные (эсхатологические, мистические и т.д.), обыденные (меланхолические, гиперстенические и т.д.). Собственно, в своих исследованиях я как раз и пытаюсь показать переплетение обыденного сознания и политического мышления, эсхатологических страхов с революционным энтузиазмом и т.д.

Н.Н.: Возникает вопрос: являются ли эти «настроения» чем-то, специфически присущим массе, отражающим внутренние чаяния ее членов, или навязываются ей извне через пропаганду, как, например, ненависть к чужим, жажда кровавой расправы над «классовыми врагами»?

В.А.: Конечно, существует проблема «искренности» чувств. Чувства и их репрезентация — не одно и то же. Проблема в том, что порой сам человек не может понять природу испытываемых эмоций. Например, та же классовая ненависть — происходит ли она из непримиримых противоречий между эксплуататорами и эксплуатируемыми или является формой ложного мышления? Рассмотрим отношения крестьян и помещиков в пореформенной России. После отмены крепостного права крестьяне оказались во власти рыночных отношений, которые приводили к когнитивно-ценностным диссонансам: столкновению принципов рыночных отношений и моральной экономики, юридического и обычного права. Так, крестьяне отказывались признавать право помещиков на леса, потому что те их не сажали (их вырастил бог); когда помещики пытались нанять крестьян на работы, те завышали цены, когда же наниматели находили рабочих на стороне по среднерыночным ценам, крестьяне их избивали и прогоняли, повреждали помещичьи или хуторские сельскохозяйственные машины, так как те обесценивали их труд и т.д. При этом ненависть к помещикам сочеталась с наивно-монархическим патерналистским мышлением.

Конечно, аграрные проблемы России XIX–XX вв. далеко не исчерпываются этими примерами, но они иллюстрируют комплекс возникавших, в дополнение к экономическим и правовым, психологических сложностей адаптации традиционного сознания к новой эпохе. Непонимание новых отношений, путей преодоления трудностей на фоне растущей материальной дифференциации и незавершенности

крестьянской реформы порождало чувство зависти, озлобленности, формировало «образ врага» и погружало человека в ресентимент как психологический комплекс. Революционеры манипулировали эмоциями крестьян и рабочих, небезуспешно пытаясь трансформировать ресентимент как чувство бессильной злобы в сознательную классовую ненависть и революционное насилие. Но при этом предысторию российской революции ни в коем случае нельзя описывать в политтехнологической терминологии, рассматривать ее как результат манипулирования группой провокаторов тупой народной массой. Успех революционной пропаганды был обеспечен исключительно объективными противоречиями в социально-экономической сфере и неспособностью авторитарной, традиционалистской власти отвечать на вызовы времени. Иными словами, если классовую ненависть можно рассматривать как искусственное, распропагандированное понятие, то лежавший в ее основе ресентимент — объективный психологический феномен.

Вообще, разные политики в разные времена пытались и пытаются играть на инстинктах и эмоциях толпы. Царское правительство в этом отношении мало отличалось от своих политических оппонентов. Начавшаяся Первая мировая война породила военно-патриотическую пропаганду, которая оправдывала войну необходимостью защиты абстрактного национального достоинства России и конструировала из немцев образ цивилизационного врага, разжигая германофобию, которая в конечном счете вылилась в конспирологическую убежденность в наличии при дворе «темных сил» во главе с императрицей Александрой Федоровной. Впоследствии уже депутаты-оппозиционеры использовали слухи о «темных силах» с целью дискредитации верховной власти. В итоге подобные манипуляции привели к глубокому кризису доверия между властью и обществом. В конце декабря 1916 г. состоялась встреча французского и английского послов с Николаем II, на которой Дж. Бьюкенен, выражая озабоченность внутренней ситуацией, позволил себе посоветовать императору сделать шаг навстречу народу. Российский самодержец на это ответил, что российский народ должен прежде заслужить его доверие.

В политике 1917 г. роль эмоциональных манипуляций была особенно высока. Это касается и выстраивавшегося культа Керенского, известного своей патетикой, и риторики Ленина. В 1917 г. один из основателей РСДРП А.Н. Потресов ругал Ленина за то, что им движет не «дисциплинированный опыт классового сознания», а «элементарный классовый инстинкт», концентрированные и утрированные чувства. В мае 1917 г. М. Горький признавал, что политика в России попала в плен эмоций. Тем не менее нужно признать: отдельный политик не в силах навязать обществу чуждые ему массовые настроения, максимум, что он может сделать, — разжечь тлеющее пламя. Как отмечал К. Мангейм, в революционные времена политики, считающие, что подталкивают своими действиями массы, в действительности сами подталкиваются ими к определенным действиям, ведь они являются заложниками одной экстремальной социально-психологической ситуации, навязывающей людям собственную логику поступков.

Н.Н.: Может ли эмоциональное состояние отдельного человека что-то сказать о настроении всей массы? Должен ли он для этого принадлежать к ней или может оставаться попутчиком, сторонним и даже критически настроенным наблюдателем? Основные герои вашей книги — обыватели, в том числе из интеллигенции, но значит ли это, что они автоматически включаются в социальную массу?

В.А.: Существует искушение определить массу как множество, чье настроение складывается как среднеарифметическое индивидуальных эмоций. В действительности все намного сложнее. Ведь эмоции возникают не только как психическая ре-

акция на некие «объективные» события, но и как результат заражения субъективными переживаниями других (упомянутая контагиозность). В этом отношении важны индивидуальные возможности эмоциональных коммуникаций. Публичный человек имеет больше вариантов транслирования собственных эмоций через те же средства массовой информации, более широкие круги общения. Важная роль в распространении эмоций принадлежит художественным текстам, не случайно А. Баумгартен ввел в оборот понятие «эстетики» как чувственного познания, в том числе как способа репрезентации эмоций. Хотя необходимо учитывать и эффект эмоциональных диссонансов: нередко читатель или зритель воспринимает образ иначе, чем задумывал его творец. Например, В.В. Кандинский решил передать чувство восторга перед наступлением нового мира в картине «Москва. Красная площадь», которая была завершена незадолго до начала революции 1917 г., однако сокрушался впоследствии, что зрители почувствовали в ней ужас перед наступающим Апокалипсисом.

Кроме того, эмоции — это еще и защитная реакция, с помощью которой психика старается избежать травмы. Ярким примером здесь выступает конформизм. Начавшаяся Первая мировая война привела к удивительным метаморфозам современников, когда вчерашние пацифисты вдруг сделались патриотами-милитаристами. У этих трансформаций, как правило, не было идейных предпосылок, они стали результатом «эмоциональной навигации», выражаясь терминологией У. Редди, когда человек в поисках психологического комфорта пытается снять когнитивно-ценностные противоречия, старается не замечать неудобных для себя явлений.

Патриотическое настроение образованных слоев цензового общества в 1914 г. обнаруживает признаки подобной «постправды», в то время как настроения крестьян разительно отличаются. Рассмотрим это на примере военной мобилизации и транслировавшихся ее образов. Монархист В.В. Шульгин летом 1914 г. в ярких красках описывал проходившую мобилизацию, констатируя полный порядок, высокий моральный дух новобранцев, исполнение бодрых песен; ему вторил октябрист М.В. Родзянко. В то же время французский посол в России М. Палеолог, наоборот, главной эмоцией считал уныние мобилизованных, а в качестве фоновой «музыки» отмечал плач провожавших их жен и детей. Сами новобранцы впоследствии вспоминали, что если они и горланили веселые песни, то с единственной целью — заглушить разрывающую их тоску. Официозная периодика создавала картину всеобщего воодушевления и морального подъема, однако военные власти отчитывались о массовом дезертирстве новобранцев, порой бежали целыми вагонами по 500 человек. Можно констатировать, что война и мобилизация внесли эмоциональный и ценностно-когнитивный диссонанс в российское общество. Но если патриотический энтузиазм лета 1914 г. можно назвать искусственно сконструированным, то революционная эйфория февраля-марта 1917 г., также окрашенная в патриотические цвета, казалась куда более искренним и всеобщим настроением. Таким образом, исследование массовых настроений должно учитывать социальную структуру общества, степень вовлеченности определенных групп населения в те или иные процессы, с которыми связаны эмоциональные реакции, а психологические состояния отдельных людей должны рассматриваться в контексте характерных для времени способов и направлений эмоциональной навигации.

Н.Н.: В вашей книге меня особенно привлекло то, что вы опираетесь на «приоритет герменевтического подхода, постоянное обращение к историческому документу как главному свидетелю», что, наряду с источниковедческой критикой последнего, «позволяет разрушить прокрустово ложе монофакторных (социологических, психологических, экономических, политических и пр.) интерпретаций истории, осо-

бенно когда речь заходит о таких сложных и переломных периодах, как Первая мировая война и российская революция». Несмотря на герменевтическую строгость, среди ваших источников есть такие эмоционально насыщенные вещи, как дневниковые записи, живопись, агитация, теории заговора и, конечно, слухи, которые играют совершенно особенную роль. Вы же не просто отсеиваете их или очищаете от них источники, но, напротив, прислушиваетесь, в каком-то смысле распространяете...

В.А.: Вообще, за распространение слухов в военное время предусматривалась уголовная ответственность; по мере затягивания войны и роста недовольства власти неоднократно напоминали об этом населению, так что я предпочел бы говорить не о моем их распространении, а об изучении и реконструкции... Или вы имели в виду суггестивный прием погружения читателя в эпоху не только посредством авторского нарратива, но и посредством воздействующих на подсознание образов, цитат? В этом случае вы отчасти правы: я считаю необходимым, коль скоро мы говорим об эмоциях, предоставить слово источникам, донести до современников голоса прошлого, в ряде случаев не описывать образ, а процитировать его, хотя, конечно, аналитика остается на первом месте. В этом же качестве в книге присутствует богатый изобразительный ряд — это не иллюстрации, а визуальные документы-цитаты, которые анализируются в тексте, но при этом и складываются в собственный текст. Но давайте обо всем по порядку.

Выбор источниковой базы определяет качество исследования, возможность верификации. Поскольку предметом являются массовые настроения, то и источник должен обладать признаком массового текста. Вообще, в историческом источниковедении существует давняя дискуссия о том, что считать массовым документом. Традиционно массовые источники (характеризуются однородностью и повторяемостью информации) противопоставляются уникальным (от дневников до произведений искусства), я же и в массовых, и в уникальных документах ищу повторяющиеся паттерны, которые отражают типичные эмоциональные реакции, образы. Например, признаки эсхатологического страха, который выражался в распространявшихся по деревням слухах об аэропланах как предвестниках Апокалипсиса, в официальной пропаганде, изображавшей Вильгельма II в образах Антихриста, в предчувствии наступающих последних времен в дневниках обывателей, в соответствующих метафорах в поэзии и живописи. Ценность массового источника в том, что к нему можно применить квантитативный анализ и понять некоторую динамику настроений. Так, количественный анализ карикатур из иллюстрированных сатирических журналов Петрограда и Москвы, в частности, позволяет сделать вывод, что с лета 1915 г. внутренние угрозы становятся актуальнее внешней опасности, — это находит подтверждение и в материалах перлюстрации.

При этом частотность образов не тождественна их силе воздействия на адресата. Возьмем другой визуальный источник — военный лубок. Художники в своей массе описывали Первую мировую войну в образах XVIII–XIX вв., не возбуждавших фантазию современников, но редкие картины воздушных и морских сражений, напоминавшие иллюстрации к научно-фантастическим романам, способны были напугать впечатлительных зрителей. Не случайно в обществе с началом войны развивалась аэропанофобия — страх перед летательными машинами. Этот страх в некоторых случаях отличался амбивалентностью: эсхатологический ужас трансформировался в эсхатологический восторг, который обнаруживается, например, в тексте одного журналиста, с ужасом восхищавшегося ночными бомбардировками в 1915 г. Упомянутые паттерны суть знаки семиотической системы, характеризующиеся гипер- и интертекстуальностью, одновременно существующие в нескольких

дискурсивных измерениях. Поэтому для изучения массовых эмоций и порожденных ими образов крайне важно использовать максимально широкий массив текстов, формировавших семиотическое пространство эпохи. В этом отношении один из интереснейших источников — массовые слухи. Нередко они рассматриваются в рамках тривиальной оппозиции «правда — вымысел». Еще в 1902 г. В. Штерн главной характеристикой слуха назвал искажение первоначальной информации, но в дальнейших исследованиях Р. Кнапп, Г. Олпарт и Л. Постман отметили, что это искажение зависит от эмоциональных потребностей социума, то есть в массовых слухах концентрируются социальные чувства. Слухи способны формировать ситуацию «постправды» — психологического состояния общества, для которого истина менее важна, чем мифы, обеспечивающие эмоциональный комфорт. Не случайно массовые слухи отличаются интертекстуальностью: в них причудливо переплетаются архетипические образы, фольклорные сюжеты, газетные сведения, собственные видения и т.д. Крестьяне с помощью слухов-сказок пытались осмыслить современность, объяснить начало Первой мировой войны, то есть слухи выступали в качестве когнитивно-интерпретационной модели.

В обществе слухи выполняют ряд важных функций, одна из которых — прогностическая. Социолог Р. Мертон популяризовал «теорему Томасов», или теорию «самоосуществляющихся пророчеств»; то же сформулировал К. Поппер как «Эдипов эффект»: способность ложного слуха влиять на предсказанное событие вне зависимости от того, вызывает оно попытки его предотвращения или осуществления. Простой пример — предыстория социального взрыва февраля 1917 г.: со второй половины января в Петрограде зрела ложная уверенность, что город стоит на пороге голода. После того как появляется абсурдный слух о том, что министр внутренних дел А.Д. Протопопов намеренно ограничивает подвоз муки в Петроград с тем, чтобы спровоцировать голодный бунт и затем его жестоко подавить, начинается паника, люди принимаются закупать хлеб про запас, в результате чего в ряде булочных он заканчивается, магазины закрываются раньше времени, и вид закрытых хлебных лавок, убеждая население в истинности слухов, провоцирует выступления женщин-работниц 23 февраля, требующих хлеба. Довольно быстро экономические лозунги перерастают в политические, и начинается революция. Изучение подобных механик позволяет понять природу стихийной самоорганизации общества как открытой динамической системы и, в частности, синергетическую природу революции.

Н.Н.: Подводя итог — становятся ли войны и революции катализаторами для «массовых настроений»? Один из центральных сюжетов книги — конфликт традиционного и модернового мировоззрений, с которым столкнулась Россия в начале XX в. Стал ли он настоящей эмоциональной причиной всестороннего кризиса или война, а затем и революции вскрыли и в каком-то смысле приручили его, канализировали общественное недовольство, преодолели неопределенность?

В.А.: Да, война действительно стала катализатором революции, вызревавшей с конца XIX в. Что же касается «преодоления неопределенности», то, с одной стороны, начало войны разрешило общество от бремени страхов и предчувствий войны, погрузив его в новую экстремальную современность, как и октябрьский переворот большевиков, запустивший механизм Гражданской войны, был воспринят некоторыми обывателями с облегчением: «Пучина наконец-то разверзлась», — записал в дневнике П.А. Сорокин. С другой стороны, война и революция породили собственные ситуации неопределенности как некие точки бифуркации. Одна из них — темпоральная неопределенность, непонимание того, шагнул ли мир в буду-

щее, так как большая европейская война давно была предсказана писателями-фантастами, или, наоборот, был отброшен в далекое средневековье ввиду поправки идей Просвещения, основ теории прогресса и гуманизма. В.Я. Брюсов отреагировал на начавшуюся войну характерными строками: «Не вброшены ль в былое все мы, / Иль в твой волшебный мир, Уэллс? / Не блещут ли мечи и шлемы / Над стрелами звенящих рельс?» Соответственно этой темпоральной неопределенности будущее вызывало у современников амбивалентные чувства: и пугало, и восхищало одновременно.

Упоминавшиеся эсхатологические настроения, характерные и для крестьянства, и для эстетствующей интеллигенции, порождали образы пессимистического и оптимистического Апокалипсиса. Так, в крестьянской среде накануне революции распространялся слух, что скоро придет Антихрист и наконец даст землю (хотя когда до крестьян Херсонской губернии дошли известия о формировании Временного правительства, тут же родился другой слух — что оно вернет крепостное право); столичные поэты и художники, переживавшие миллениаристские ощущения, предсказывали рождение нового мира — тут и «Государство времени» В. Хлебникова, и «Мировой расцвет» П.Н. Филонова, и т.д. Примечательно, что футуристов задолго до Первой мировой войны прозвали безумцами-хулиганами-революционерами, не удивительно, что многие из них с восторгом встретили не только февраль, но и октябрь 1917 г. Тем самым конфликт традиционного и современного сознания имеет темпоральное измерение — это столкновение прошлого и будущего в неопределенной современности, и война как раз усиливает подобную неопределенность, так как способна не только разрушить настоящее (футуристы были готовы пожертвовать им ради нового мира), но и перечеркнуть будущее.